

Олег МАЛИНИН

Полёт орла

К 85-летию
поэта Валентина Сорокина



Спокойствие беру я
у пилота,
А яростную смелость —
у орла!
В.В. Сорокин, 1960 год

Молчание — золото. Посмотрите на орла: он молчалив и бес- смертно красив. Мой очерк обычен, но я не стану много ком- ментировать, буду, в ос- новном, цитировать стихи поэта. Как бы с ним ря- дом летachim, буду оглядывать со всех сторон эту могучую соседку в роскошном полёте птицу и молчать. Молчать буду я, догоняя стремительную уральскую удаля:

— Я родился в башкирском селе, — сплагает о себе поэт, — где обветренные обжиты на рысках пролетают в седле, не покачиваясь — как пришиты.

Валентин Сорокин — молния. Валентин Соро- кин — свет. Валентин Сорокин — летящая искра. Вот она летит из-под копыт коня его предка, вы- секаемая мастерством, отвагой, продолжается автобиографичный сказ: ...Самый старший из них — Абдул. Белозубый, широколицый, он в ладо- нях подковы гнул, словно это вязальные спицы. Жарко дышавшего коня на дыбы становил с галло- па и в седло поднимал меня, покровительствен- но хлопалая.

Вот они, орла крылья! Скоро будут клюв и когти. Не правда ли, строки автобиографичного ска- зания выше — мгновенно и легко запоминаются? Настолько идут от природы, органичны и крепко спаяны. А это:

— Ой, вы песни, башкирские песни! — словно ве- трок с весенних полей! С вами даже и мёртвый воскреснет, с вами трижды живые смелей.

Когда я сочиняю этот очерк, цитирую стихи Ва- лентина Васильевича по памяти, поэтому прошу прощения за неавторские знаки препинания. У меня перед глазами совсем нет сборников поэта. Все уже давно раздарили. Как обнаружилось, ни одного не осталось. «Быть поэтом — значит быть ветром» — я это лично услышу. Услышу!

Присмотримся и постараемся прислушаться: — И река багрянчилась, и море, солнце гасло на шеломе дня. Все мы, все по радости и горю на планете близкая родня...

А теперь посмотрите, как песенно, чётко, ёмко, молитвенно, но это поэзия:

Можно испепелить сердце меж двух огней, трудно тебя любить, а не любить трудней.

Литые волны катятся со звоном, Пликает кузнечик на лугу — Звенит июнь под синим небосклоном На солнечном Исетском берегу.

Сорвавшейся серебряной росинкой, И на цветок нацеленной пчелой, И у земли согнувшейся былинкой, И кроной, вознесенной над землей.

И песенностью птичьей переклички Над белизной ромашковых полей, Колесным перестуком электрички, Ауканьем веселых горожан.

И хоть земля до корешков прогрета, Упрямо солнце движется в зенит.

Войдите в лес, послушайте, как лето О счастье мира празднично звенит.

Ветер вершины деревьев качает. Голос кукушки звенит одиноко. Память опять про себя отмечает Детство, пропавшее в годах далеко.

Вижу я стог и реку небольшую, Густо поросшую острой осокой. Солнцем и ветром беспечно дышу я Иль убегаю тропею высокой.

Если бы в старину, я бы во мраке гроз только тебя одну на вороню унёс. Стала бы робко ты шанежки в печь сажать и поливать цветы, и сыновей рожать. Жил бы я веселей — сеятель, а не гость, и, воротясь с полей, вешал пиджак на гвоздь...

Но вот сразу метнём свой взгляд к заострённо- му клюву:

На Руси родиться — распротиться с радостью и с дедовским крестом.

На Руси родиться, как явиться атаманом или же Христом.

Если снова ангелы и черти нагло оседлали бунтаря,

На Руси недалеко до смерти, до расстрелов, проще говоря.

На Руси мятеж короче лета, он к зиме кончается тоской.

На Руси благодарят поэта арбовую чёрною доской.

Ну, зачем ты смотришь волооко, почему ты грустная, луна,

Неужель от Пушкина до Блока речка жизни кровью не полна?

На Руси никто не отвечает за себя и целые века.

На Руси нерусских привлекает русская державная рука.

Сколько сгасло по тропинам узким, сколько слёз умыкала верста?

Потому и быть на свете русским — доля атамана и Христа!..

Поэта, эту сильную птицу, гнобили, выбивали из квартиры, выкидывали из окон жилища вещи, ло- мали пальцы на руках (стоят перед глазами моими эти могучие честные постарелые руки труженика индустриального Челябинска 50-60-х годов, по ко- торым сверяешь эпоху со своим представлением о ней!), молодой поэт проработал оператором крана мартеновского цеха 10 лет: Я стоял у огня, плавил кремний и резал, потому — у меня руки пахнут железом. Я стоял у огня между тьмою и светом, потому у меня возле сердца планета. Я стоял у огня в миг рождения булата, потому у меня путь-дорога крылата...

Истинно так — «крылата», вопреки копошачим- ся земляным червкам, мечтавшим о поднебесье, заведовавшим, да так и стившим в черноте.

Пароходы торопятся к устью. И горят, золо- ты и остры, купола над иольскою (поэт родился 25 числа) Русью, словно прадедов наших костры. Вот легенда о бешеном хане, вот омытая кро- вью верста. И на каждом могильном кургане я стою, как распятые Христа.

Имеющие уши! Музыка и дыхание ветра поэзии Валентина Сорокина:

В эти дни приливы и отливы серебрили пеною пески.

И вставали ивы сиропливо над воюной белой на мыски.

Помните шаг Маяковского?

«Дай же последней нежностью выставить твой уходящий шаг».

Здесь «щ...ш» тонко передают момент касания обуви земли...

А есенинское — «Не жалею, не зову, не плачу»? Это гармоничнейше, скупуплётнейше подобран- ное сочетание гласных и согласных звуков.

Но мы летим далее:

Приглядись — у друга у и брата — сквозь века, где села бым коптит, дерзкою стрелою азиатка по очам раскосина летит.

Это мы ещё парим над солнечной Башкирией.

Вот какие стихи сочинял тридцатилетний поэт «в стране революции», только что вышедший из мартеновского цеха, ясноокий, целеустремлён- ный, орёл, честный, смелый. И отправился заво- евывать Москву.

Купола Кремля золотоголавы. Голубой, тепля- щий ветровый. Никогда не посрамлю я славы Ро- дины восторженной мойей.

Дух её в святых, победных драках до горячей вражеской земли на подковах, на мечах, на траках красные гвардейцы пронесли...

Москва покорится. Сам поэт Василий Дми- триевич Фёдоров привлекает, как сына, и даже «благословляет» у памятника Горькому, где их, весёлых, одёргивает милиционер, а позже, узнав в одном (какова эпоха!) из них поэта — Василия Фёдорова, даже, говорят, прочитает по памяти его стихи. Воз- можно, например, такие: И видел я незримое досе- ле: над оловой моей издадека, похожие на древ- них птиц, летели напуганные чем-то облака.



Валентин СОРОКИН

Красной масти на поле цветы...

Скалы, озера, луга и овраги. Каждой травинке я искренне нужен. С облаком рядом, исполнен отваги, Беркут рыжеющий кружит и кружит. Полдень — отец притомился косою Часто махать... Закипает кастрюля. Медом повеяло, дымом, рососо, Дождь заплясал на ладонях июля. Мать поправляет поспешно косынку И в шалаше, что прохладною дорог, Радостно нам раскрывает корзинку: Лук да олады, картошка да творог. Сколько изъезжено, понято мною, Сколько забыто, но давнее лето, Будто бы эхо, идет стороною, — И невозможно не думать про это. *** Иноземцу меня не осилить И уже невозможно пресечь, Я недаром родился в России И пою её горе и меч. Вырастал я за сына и брата Из злешой и злой маеты, Вам, которые ложью распяты, Вам, которые пулей взяты.

Смолкни, ветер, над миром разбоя, Эхо смерти, не шастай в лесу, Я боюсь, что однажды с собою Тайну века во тьму унесу.

Будет каждая крыша согрета, Вспыхнет праведный свет навсегда, Если в грешную память поэта Залетает вселенной звезда.

Если выставя, выдюжив, вызнав, Я поднялся — и солнце в груди, Если вещая мать-Отчизна День и ночь у меня впереди.

Струны времени, совести стрелы, Красной масти на поле цветы, Это — чувства и слова пределы, Это — ты, моя Родина, ты!

ВЫПОРОТЬ БЫ Ну и что ж, что ты очень богат, Обокрал мою Родину ловко, Дай меня ты не больше, чем гад, И жена твоя — тварь и плутыга.

Жри икру и хлебай ты коньяк, Покупай себе княжеский титул, Для меня ты — сексот и маньяк, Грабежом себя в гении выдул.

Кремль сегодня, а завтра Париж, Глушь алтайская, нефтедобыча...

Ты в России, жесток и бесстыж, Нам про подвиги башей, талдыча.

Я отцовскую избу любя, Помню хутор — он канул без вести, Я ботинком швырнул бы в тебя, Но зазнаешься ты, много чести.

Для тебя и Урал, и Сибирь, И Поволжье — алмазною гирей, Двадцать первого века пупырь, Хан, воняющий долларом чирей.

Ты над Лондоном утром парил, А к обеда над Клязьмой заохал, Кто так щедро тебя одарил Беспощадным цинизмом, пройдоха?

Ты повсюду торчишь, веселя: В речке — окунь, ребёнок — на горке... На тебя посмотрел бы я, бя, После длительной плётковой порки!

НА ТРАКТЕ Что ты хочешь, на Руси рождённый, Славы и богатства, тишины, Неумный и не ограждённый От своей и от чужой вины?

А твоя вина — твоё призванье, Совесть близких, горе их и свет, козни и страданье означивают след.

Сколько гроз мятежливо скатилось, У какого ж доброго царя Голова скорбяще наклонилась

Над лихой могилой бунтаря?

Трон — царю, а вольному — недоля.

Две дороги: истина и ложь. А в моём отчестве, тем боле, То и то в изгибистве найдёшь...

Вон стоит с клюкой вдова-старуха,

А по тракту, развевая пыль, Пролетел, покарявив плухо, Бронированный автомобиль.

младший был из братьев, а младше меня ещё сестричка. В 14 лет я уехал учиться в ФЗУ.

Хутора, конечно, больше не существует — как и многих деревень России, — зато есть лебеди- ная песня уходящей эпохе. Или лебединая песня русскому народу? Нет, только не это. Это не про нас. В творчестве поэта нет этих нот даже близ- ко: Обелиски горят на робидом просторе, нам они говорят про великое горе! Не согнёт нас беда, у козо не спроси я: никогда, никогда, не погибнет Россия!

Всегда Россия воспрянет и страхнёт с себя морок и даже поможет это сделать другим, осан- тавшей Европе уже в который раз: «От крови расплыва и от огня, расисты шли в мои святые дали: они судили ни за что меня. И, как в мишень, стреляли и стреляли. Вся эта нечисть у меня в доле, и внев гудит в груди страшной, чем улей, и до сих пор я вынут не могу из сердца нежаве- ющие пули... Но, обретая силу и красу, я говорю через смеши и ропот: — Да, я не раз ещё тебя спасу от недруга внезапного, Европа!».

Личное знакомство с поэтами всегда удивитель- но. Вспоминаю первую нашу встречу, которая слу- чилась в Литинституте, в этом храме сталинско- горьковского искусства, когда в дверях большой аудитории второго этажа заочного корпуса появи- лся, как птица внезапно, человек с чётким красивым голосом, с юмором:

— Так-вы из какой организации? — обратил- ся он с орлиной серьёзностью, но не скрывая за- таившейся иронии к ребятам-работягам, занятым взломом старого ссохшегося оконного проёма. Одобрительно кивнув на их ответ, он в два шага оказывается за преподавательским столом. За два года обучения на ВЛК я всего один раз пропустил занятия. Настолько насыщены и глубокими были сформированные Валентином Васильевичем «пары», семинары и лекции. Его приятель Орлов Александр Сергеевич, автор одного из лучших и известнейших учебников по истории России, пре- подаватель МГУ, водил нас на Новодевичье клад- бище, сам сильно хромой, он говорил нам: «Иди- те, идите, я догоню». И улыбался вслед...

Удивительные люди, о каждом из которых хо- чется много рассказать. Большое вам спасибо, учителя, наставники от Бога. Весь этот коллектив был подобран и мастерски сформирован ВВС, проректором по ВЛК тогдашним. Я не пропустил ни единого занятия лично у Валентина Василье- вича и ещё полгода ходил, уже закончив учёбу с красным дипломом, к младшим группам, где был преподавателем ВВС.

Возвращаясь к творчеству нашего поэта, выра- зителя эссенции русского духа, хочется добавить, что Россия без солнечной, жизнеутверждающей поэзии Валентина Сорокина, как изба без русской печи, как родина без воспоминанья — не Россия, а жалкий осколок с некогда звенящими на ветру то- полями, птицами, летящими в арктическую даль великой империи.

Дай, Боже, крепкого здоровья дорогому учите- лю моему, поэту вечно молодому — Валентину Ва- сильевичу Сорокину!..

Новый барин мчится через годы, Знаменит грабительством, И рад, будто знамя братства и свободы Не взлетало с наших баррикад!..

ЛИШЬ У НАС Речут ветра в полях, И через шум и дрожь С юга на журавлях В гости спешит к нам дождь.

Солнечный барабан Звонит сорит и свет, Много я видел стран, Краше России нет.

Ночью взойдет луна И вдоль дорог кругом Светом — трава полна, Светом разбужен гром.

Дай мне свою ладонь, Губы мне, губы дай, Звездный летит огонь В Африку и Китай.

Русская жизнь — любовь, Это — и я, и ты, — Свет опьянил нам кровь, Свет окропил цветы.

Тихо поют леса, Храмы звонят в мольбе. Мамы моей глаза Бог подарил тебе!..

«Души твоей светлая тень...» Михаил попов

Памяти поэта Александра Роскова, погибшего десять лет назад

на стебель, точно многоточия. Стихотворения ли неоконченно- го, рассказа ли?..

Что должно быть в жизни, то и будет, или было, или уже есть. Мы с тобой серебряные люди — это ни тебе, ни мне не лест; просто мы уже не молодые, нас такими сделали годы: у меня давно виски седые, у тебя — седая борода. Если же обоим нас зачислить как людей — в народное добро, то в прямом и переносном смысле для страны мы тоже — серебро... Замедляю шаг. Окидываю луговой простор. Жизнь прожить — не поле перейти. И поднимая отуманенный взор к небу. ...И слова, как в той библейской притче (вспомни-ка — о сеятеле, где слово в зерновом встает обличье), в благодатной просторост среде, добрые дадут ростки и всходы в чьих-то душах — Библия права. И любезны будем мы народу, землякам своим за те слова, что волшебной обладают силой — жечь людские чёрствые сердца. И ерешны мы будем до мозилы перед Богом, то есть — до конца. ...Пусть, когда умрешь ты, неизвестно, мне б хотелось встретиться с тобой после смерти в Царствии Небесном, там — в Небесном Царстве. Боже мой...

«Души твоей светлая тень...» Разбудила какая-то пичуга. Объявила о себе короткими по- свиствами, и даже показалося, постукала клювиком в стекло. Я поднялся, осторожно отвлёк занавеску. Свету в избе не прибави- лось — солнышко, если и поднялось, то за пеленой верхового тумана, не проглядывалось. Пичуга сидела на рябинке, занавё- шавшей белыми цветами, и внимательно смотрела на меня.

Накануне я перелистывал томик Саша Роскова и несколько раз возвращался к его стихотворению «Памяти Николая Руб- цова». Перечитывал про себя, но читал, как и вслух, — резко, размашисто, горячо. То есть так, как привык с того дня, как впервые прочитал его.

Было это четверть века назад, в январе-феврале 1996 года. Стихотворение стояло в подборке, которую Саша подготовил для печати в «Белом пароходе». (Подборка — мы назвали её «Линия жизни» — вышла в первом номере альманаха за тот же год.) В ней было пять стихотворений, в том числе знаменитое «Житие у реки...», потом много раз переизданное и переведён- ное на все скандинавские языки, а также на английский язык. Но то- гда, при первом знакомстве с новыми стихами, взгляд невольно потянулся именно к «рубцовскому»... Ведь это был знак, путе- водная вежа, сигнал на уровне подсознания. Я начал читать, и где-то с середины стихотворения сердце закипело слезой. Не с середины — вот с этого места: «Пей, Рубцов, свой портвейн! Георгины замёрзли твои...». В голосе, — а он прорвался на- руку, — сам заметил, появились какие-то безысходные и даже обречённо-злые ноты. «Пей, Рубцов, свой портвейн! Места в жизни тебе уже нет...». И вот так, не понимая накала — на боли, на кипении, на разрыве — и прочитал до конца...

Что же произошло вчера, когда, открыв томик Роскова, я стал перечитывать посвящение Рубцову? Внешне будто ничего. А внутренне... Что-то запротивилось во мне, что-то оскело всег- дашний накал. А так ли я читаю это стихотворение? То есть прави- льно ли передаю авторский замысел? И в конечном итоге, а так ли я понял это стихотворение?

Начинается оно в традиционно-элегической Сашиню манере: А мороз на Крещение и в Володе тоже — мороз, Как на роди- не детства, в Архангельской области...

Тут и на голос и на слух просится соответствующая интонация. Но вот экспозиция завершается, взгляд поэта, а следом читате- ля останавливается на человеке, рука которого тянется к стака- ну жгучего зелья, и далее появляется та самая строка, сбиваю- щая зачин, его ритмику, первоначальную интонацию и невольно меняющая всю дальнейшую тональность стихотворения: «Пей, Рубцов, свой портвейн! Георгины замёрзли твои...». Странное дело, повелительные ноты не свойственны поэтике Александ



Роскова, а тут повеление проходит рефре- ном, это «Пей, Рубцов...» повторяет- ся трижды. Вот потому-то, повторюсь, я всегда и читал это стихотворение наот- машь — безысходно, прозно, горячо. К тому побуждала и ещё одна строка: «... за плечами которой архангел погибел реет», уносящая сознание к апокалип- сическим пределам.

С отуманенных небес я снова пере- вёл взгляд на пичугу. Сегодня 13 июня — годовщина Сашиню гибели. И вдруг посреди глаза мои открылись. Архангел

погибели невидим земному взору. Стало быть, поэт вложил эти слова в уста того, кто обладает таким зрением. Кто же он? Да ан- гел-хранитель. Это он, невидимый наперсник Николая Рубцова, рисует трагическую картину и ведёт перечень утрат:

Пролетели твои самолёты, прошли поезда, и телеги твои, как ты сам говорил, проскриптели. Не горит, а мер- цает полет твоих зимних звезд, в перелесках ветра твою душу заочно отпели.

Более не в силах держать Рубцова на погребальном краю, ан- гел-хранитель, сложив усталые скорбные крылья, подводит итог земной жизни грешного русского поэта и открывает грядущее. В том перечне — мемориальная доска, мемуары и даже памят- ник, который воздвигнут после его ухода «в городке древнерус- ском»... Но Рубцов, его душа уже не будут иметь к этому ника- кого отношения...

Вот так пришло ко мне прозрение, а следом — и вывод: это стихотворение надо читать не так, как доселе читал я, а тихо, смиренно и, может быть, благоговейно, ибо тут за- вершается исход:

...Кто стучит в дверь поэта январской морозной порой? По-хозяйски стучит, а не скромно и благоговейно? То судьба, Николай... Это смерть твоя... Встань и открой... и напей ей в стакан, просто — вылей остатки портвейна...

Прочитал я это стихотворение по-новому — и всё встало на своём места. А одну строфу повторил дважды. Она ведь и про тебя, Саша, — про твою Ловзангу, про мою Пертему... Скорбно сгорят избы любимых тобой деревьев, станут ниже кресты на заброшенных русских погостах, пронесётся над ними души твоей светлая тень, ты простишься с Росси- ей без крика — трагично и просто.

Оторвав взгляд от томика, я снова глянул в окно. Пичуга на рябинке уже не было. Только тихо качалась ветка, на которой миг назад она сидела.

г.Архангельск